



А. Г. ГОРНФЕЛЬД

На пороге двойного бытия

О, вещая душа моя,
О, сердце, полное тревоги,
О, как ты бьешься на пороге
Как бы двойного бытия!..

Ф. И. Тютчев

Трудно принять историческую точку зрения на Тютчева, трудно отнести его творчество к одной определенной и законченной эпохе в развитии русской литературы. Для него не настала история. В общем историко-литературном обзоре, где надо же приурочить писателя к установленному моменту, принято отводить поэзии Тютчева место в эпохе реформ Александра II, в самом начале которой Тютчев был признан и оценен не только кружком любителей, но и более широкими кругами русских читателей. Но это внешнее приурочение пока еще не подкреплено детальным изучением той поэтической преемственности, которая нашла выражение в творчестве Тютчева, а возрастающий для нас смысл его поэзии внушает нам как бы особую, внеисторическую точку зрения на него. Неумирающий и жизненно-деятельный спутник и выразитель современной души, он как-то ускользает от исторического воззрения и хочет быть понят не столько во взаимодействии с судьбами родной литературы, сколько в цельности его сложного творчества и интересной личности. Их должно изучать вместе, и для этого мы располагаем уже теперь достаточными данными.

Невелико его литературное наследие: несколько публицистических статей и около сорока переводных и двухсот пятидесяти оригинальных стихотворений, среди которых далеко не все удачны. Среди остальных зато есть ряд перлов философской лирики, бессмертных и недостижимых по глубине мысли, по

силе и сжатости выражения, по размаху вдохновения. Дарование Тютчева, столь охотно обращавшееся к стихийным основам бытия, само имело нечто стихийное; в высшей степени характерно, что поэт, по его собственному признанию, выражавший свою мысль тверже по-французски, чем по-русски, все свои письма и статьи писавший только на французском языке и всю свою жизнь говоривший почти исключительно по-французски, самым сокровенным порывам своей творческой мысли мог давать выражение только в русском стихе; несколько французских стихотворений его совершенно незначительны. Автор «Silentium», он творил почти исключительно «для себя», под давлением необходимости высказаться пред собой и тем уяснить себе самому свое состояние. В связи с этим он исключительно лирик, чуждый всяких эпических элементов. С этой непосредственностью творчества И. С. Аксаков, зять и биограф поэта, пытался привести в связь ту небрежность, с которой Тютчев относился к своим произведениям: он терял лоскутки бумаги, на которых они были набросаны, оставлял нетронутой первоначальную, иногда небрежную, концепцию, никогда не отделял своих стихов и т. д. Последнее указание опровергнуто новыми исследованиями; стихотворные и стилистические небрежности, действительно, встречаются у Тютчева, но есть ряд стихотворений, которые он переделывал, даже после того, как они были в печати. Бесспорным, однако, остается указание на «соответственность таланта Тютчева с жизнью автора», сделанное еще Тургеневым: «от его стихов не веет сочинением, они все кажутся написанными на известный случай, как того хотел Гёте, т. е. они не придуманы, а выросли сами, как плод на дереве».

I

Извне его жизнь шла ровным путем баловня судьбы. Он вышел из общественного круга, представителям которого заранее обеспечено возможно безболезненное и беззаботное существование, — и он пользовался этим благом во всей его полноте. Отпрыск богатой и родовитой семьи, в которой исключительное господство французского языка и внешних форм отлично уживалось с приверженностью ко всем особенностям старорусского дворянского и православного уклада, он уже в ранней юности имел счастье быть сближенным с интересами литературы больше, чем этого можно было ожидать в грибоедовской Москве, столь чуждой всяким духовным запросам. Своевременно он

был дипломатом, либеральным цензором, популярным в обществе сановником. Его знали литература и двор. Блестящий, тонкий и образованный собеседник, яркие и остроумные замечания которого передавались из уст в уста, пронизательный и школою жизни испытанный мыслитель, с равной уверенностью разбиравшийся в высших вопросах бытия и в текущей исторической жизни, самостоятельный даже там, где он не выходил за предел ходячих в его кругу воззрений, человек, проникнутый культурностью во всем, от внешнего обращения до приемов мышления, — он производил обаятельное впечатление особою, отмеченною Никитенком, «любезностью сердца, состоявшей не в соблюдении светских приличий (которых он никогда и не нарушал), но в деликатном человеческом внимании к личному достоинству каждого»¹. Впечатление нераздельного господства мысли — таково было преобладающее впечатление, которое производил этот хилый и хворый старик, всегда оживленный неустанной творческой работой. Поэта-мыслителя чтит в нем, прежде всего, и русская литература.

Его оценили рано и прочно великие мастера поэзии. Еще Пушкин печатал его стихотворения в своем «Современнике»; но первую определенную и очень высокую оценку дал ему вскоре после его переселения в Петербург Некрасов, а затем Тургенев; он стал печататься в русских журналах, и читатели узнали его имя. Одновременно с этим он занял видное служебное положение — быть может, благодаря своим политическим стихам и статьям, хорошо выражавшим мнения, уже ставшие популярными в правящих кругах.

Легко, светло и красиво прошла эта жизнь. Так светлы, легки и прекрасны лежащие на горах облака, озаренные солнцем; они волшеббно-дивны для того, кто смотрит на них снизу, но тот, кого они окутали на горной вершине, видит в них серую, промозглую, холодную массу; одни бегут от нее; другие ежатся, дрогнут и — мирятся. Таков был Тютчев.

Не рассуждай, не хлопочи...
 Безумство ищет, глупость судит;
 Дневные раны сном лечи,
 А завтра быть тому, что будет...
 Живя, умей все пережить:
 Печаль, и радость, и тревогу.
 Чего желать, о чем тужить?
 День пережит и — слава Богу.

Вот его житейская философия, его отношение к миру мелких человеческих интересов, захватывающих наше существо.

Он покорялся им, уходя в себя. Не надо думать, что ему это было совсем легко. Он сравнивал свое существование со свитком, сгорающим в раскаленной золе даже без пламени.

Так грустно тлится жизнь моя
И с каждым днем уходит дымом.
Так постепенно гасну я
В однообразьи нестерпимом.

Но в нем было нечто от того мира, который его душил.

* * *

Тютчев любил один образ и повторял его: образ месяца, меняющего свой облик — ярко горящего ночью и бесцветно-прозрачного днем². Он представлял себе того, кто, зная его только с одной стороны, «в кругу большого света», мог видеть в нем лишь дипломата и царедворца, в лучшем случае лишь своенравного чудака, и потому легко мог «презреть поэта»; и он отвечал ему любимым сравнением:

На месяц взглянь: весь день, как облак тощий,
Он в небесах едва не изнемог;
Настала ночь — и, светозарный бог,
Сияет он над усыпленной рощей...

В этой двойственности покладистого человека большого света, умело приспособляющегося к его тяготам, и свободного мыслителя, истерзанного его оковами, прошла вся жизнь Тютчева. В его поэзии она оставила глубокий след; и сам он в своей духовной высоте, и глубочайшие его порывания были чужды самым близким ему и любимым людям, — кому же он мог раскрыть их, как не своей наперснице-музе?

Известна заключительная строфа стихотворения, начало которого открывает нашу характеристику:

Пускай страдальческую грудь
Волнуют страсти роковые,
Душа готова, как Мария,
К ногам Христа навек прильнуть.

«Страсти роковые» — это были те чары жизни, которые влекли к себе поэта, несмотря на всецело владевшее им глубокое сознание, что эти чары представляют собою не зерно жизни, а ее шелуху. Поэт чувствовал порою — знаменательное признание —

Как рвется из густого слоя,
 Как жаждет горних наша грудь,
 Как все удушливо-земное
 Она хотела б оттолкнуть.

Но он сознавался, что сам «свил гнездо в долине»; порывание «из густого слоя» житейских мелочей было бессильно; могущество «страстей роковых» было непреодолимо, и душа поэта оставалась «жилищем двух миров», на «пороге двойного бытия». Эта двойственность была обычным мотивом его поэзии; еще важнее: она была безразличной атмосферой его жизни и мысли, и она была той объясняющей обстановкой, в которой выросло безотрадное мироотношение Тютчева.

* * *

Одна исходная мысль охватывает все разнообразие философских идей и «настроений, вдохновлявших его: мысль об ограниченности человеческой личности. Человек бессилён в природе, бесконечно одинок в обществе и переходящий в виде личности; он отдается жизни и земным целям, но все это — ненастоящее, ненужное, призрачное; реально только непознаваемое: необъятное море мрака, в котором затерялся утлый челн нашего бытия. Жизнь — «удушливо-земное», ею можно наслаждаться, но истинное наслаждение — уйти от нее. Куда?

Прежде всего в одиночество. И поэт находит ряд убежищ: природа, ночь, молчание — вот что может отделить нас от жизни и дать самодовлеющее и удовлетворяющее существование.

То, что у Тютчева названо молчанием, не имеет ничего общего с угрюмой несообщительностью. Ограниченность человеческой личности находит наиболее сильное выражение в невыразимости нашей мысли. Думать можно лишь про себя и для себя: душа скрывает целый мир «таинственно-волшебных дум», которые «зреют в душевной глубине»; их «заглушит наружный шум, дневные возмутят лучи». И когда эти думы, охраненные от сутолоки внешних впечатлений, созреют, ими невозможно поделиться с другим, ибо он не поймет, ибо сердце не может высказать себя, ибо «мысль изреченная есть ложь». И потому:

Молчи, скрывайся и таи
 И чувства, и мечты свои.

Отделись от мира, «лишь жить в самом себе умей» — и молчи, молчи. Таков завет «Молчания». Великая ирония — автор знаменитого «Silentium» был не только замечательным поэтом,

но еще известным блестящим собеседником. Как это хорошо рисует его «двойное бытие».

Поэт хотел молчать, хотел бы жить в себе самом, но ему не позволят. И он жаждет тихой ночи, которая даст ему желанный покой. Глубинами души бесконечно чуждый деловой жизни исправного чиновника и приветливого царедворца, поэт тяготел к ночи, дарившей ему вожделенный «тихий сумрак» одиночества, позволявшей сбросить с себя оковы светской жизни, обнажавшей перед ним покровы бытия, возвращавшей его к родному миру — миру сосредоточенного проникновения в сокровенные вопросы бытия. Никто глубже его не проник в настроение этого темного и полного раздумья «часа явлений и чудес», когда

Живая колесница мирозданья
Открыто катится в святилище небес.

Мир умолкает: сознание покинуло его.

Лишь музы девственную душу
В пророческих тревожат боги снах.

II

Знаменательно, что ночь — источник успокоения и одиночества — является также условием творчества; оба эти момента объединяет также другое утешение, другое убежище поэта — природа. Она жила для него всей полнотой деятельной и самостоятельной жизни. Высшее наслаждение он находил в безраздельном слиянии с ней, из которого также выносил перлы мысли:

Бродить без дела и без цели
И ненароком, на лету,
Набрести на свежий дух синели
Или на светлую мечту.

Едва ли у какого поэта всеохватывающее желание слиться с природой, раствориться в ней до потери личности, до небытия получало более яркое и настойчивое выражение, чем у Тютчева.

Игра и жертва жизни частной,
Приди ж, отвергни чувств обман
И ринься бодрый, самовластный
В сей животворный океан.

Приди — струей его эфирной
 Омой страдальческую грудь
 И жизни божески-всемирной
 Хотя на миг причастен будь.

На миг — это не случайно. Только на миг можно испытать это совершенно неопределимое чувство.

Мотылька полет незримый
 Слышен в воздухе ночном...
 Час тоски невыразимой.
 Все во мне — и я во всем.

И поэт с напряженным прозрением находит подходящие формы для уяснения этого состояния:

Сумрак тихий, сумрак сонный,
 Лейся в глубь моей души,
 Тихий, томный, благовонный,
 Все залей и утиши.
 Чувства мглой самозабвенья
 Переполни через край,
 Дай вкусить уничтоженья,
 С миром дремлющим смешай...

Так проникнуться физическим самоощущением, чтобы почувствовать себя неотделимою частью природы, — вот что удалось Тютчеву более, чем кому-либо. Этим чувством и питаются его замечательные «описания» природы, или, вернее, ее отражений в душе поэта. Среди его произведений они довольно многочисленны, и между ними есть стихотворения различной ценности; но несколько образцов среди них — и не из самых известных — могут стать наравне с наивысшими образцами лирического воспроизведения природы. Напомним лишь немногие стихотворения, знакомые всякому с детства по мертвящим страницам хрестоматии и лишь много позже воскрешаемые самостоятельной душевной жизнью, наполняющею их живым содержанием лично пережитого: «Весенняя гроза» («Люблю грозу в начале мая»), «Весенние воды» («Еще в полях белеет снег»), «Не остывшая от зною», «Тихой ночью, поздним летом». Но менее известны, хотя столь же своеобразны, его картины осеннего настроения или хотя бы этот «Полдень»:

Лениво дышит полдень мгlistый,
 Лениво катится река,
 И в тверди пламенной и чистой
 Лениво тают облака.

И всю природу, как туман,
 Дремота жаркая объемлет,
 И сам теперь великий Пан
 В пещере нимф спокойно дремлет.

Элементарная простота этого стихотворения сообщает ему действие безотносительно-стихийное. Читателя вслед за поэтом охватывает это бездеятельное, насквозь физическое — даже не настроение — состояние. Поэт как бы добился своего: «вкусил уничтожения» своей личности, «смешался с дремлющим миром», подобно льдине, еще недавно своеобразно индивидуальной, потерял свою индивидуальность в весенних водах.

* * *

Это последнее сравнение взято из стихотворения Тютчева, которое показывает, что это ощущение потери личности было для него не только блаженным физическим состоянием, но имело связь с одним из основных элементов его мировоззрения: с взглядом на человеческую личность. Исследование, еще не произведенное, выяснит связь этого воззрения Тютчева с ходячими учениями немецкой философии, популярными в эпоху его пребывания за границей; знаменательно, например, знакомство с Шеллингом. Во всяком случае, стихотворение это, которое, несмотря на обилие панегирических эпитетов в нашей характеристике, должно назвать замечательным, дает ясное представление о воззрении поэта на сущность индивидуальности и, быть может, даже должно считаться ключом к его философии. По склону речных вод, вновь оживших весной, плывут друг за другом льдины; они кажутся разнообразными; одни блистают радужно на солнце, другие проходят мимо нас в ночной темноте. Но судьба их одна:

Все вместе — малые, большие,
 Утратив прежний образ свой,
 Все безразличны, как стихия,
 Сольются с бездной роковой...

Вот что было для Тютчева образом человеческой личности:

О, нашей мысли обольщенье,
 Ты — человеческое я.
 Не таково ль твое значенье,
 Не такова ль судьба твоя?

Ограниченности личности соответствует, конечно, ограниченность главного и могучего орудия, которым она стремится

выйти за свои пределы, — человеческой мысли. Прообразом этого неустанного, неистребимого, но тщетного стремления является для поэта струя фонтана, бьющая вверх и неизменно падающая на землю:

О, смертной мысли водомет,
 О, водомет неистоцимый,
 Какой закон непостижимый
 Тебя стремится, тебя метет?
 Как жадно к небу рвешься ты!
 Но длань незримо роковая,
 Твой луч упорный преломляя,
 Свергает в брызгах с высоты...

III

И мысль останавливается на пороге познания, окутанная мраком неведомого, охваченная неопределимым чувством тайны. За миром, ею осмысленным, уясненным, приведенным в систему и организованным, ей чудится иной мир, быть может, столь же или даже более родной ей, но непостижимый и потому страшный; за видимостью жизни она смутно постигает ее мистическую и хаотическую первооснову. «И сам Гёте, — говорит Владимир Соловьев, с наиболее возможной ясностью и силой определивший этот мотив тютчевской поэзии, — не захватывал, быть может, так глубоко, как наш поэт, темный корень мирового бытия, не чувствовал так сильно и не сознавал так ясно ту таинственную основу всякой жизни, — природной и человеческой, — основу, на которой зиждется и смысл космического процесса, и судьба человеческой души, и вся история человечества. Здесь Тютчев действительно является вполне своеобразным, и если не единственным, то, наверное, самым сильным во всей поэтической литературе». Целый ряд его стихотворений — «О чем ты воешь, ветр ночной», «На мир таинственный духов», «О, вещая душа моя», «Как океан объемлет шар земной», «Ночные голоса», «Ночное небо», «День и ночь», «Безумие», «Malaria» и др. — представляет собою особую лирическую философию хаоса, стихийного безобразия, беспорядка, безумия как «глубочайшей сущности мировой души и основы всего мироздания». И описания природы и отзвуки любви проникнуты у Тютчева одним всепоглощающим сознанием: за видимую оболочку явлений с ее призрачной ясностью и простотою скрывается их роковая сущность, таинственная, с точки зрения на-

шей земной жизни отрицательная и страшная. Ночь с особенной силой раскрывала пред поэтом эту ничтожность и призрачность нашей сознательной жизни сравнительно с «пылающей бездной» стихии непознаваемого, но чувствуемого хаоса.

Мы видели, как любил Тютчев ночь, сменявшую томительный деловой день и дававшую поэту желанный покой одиночества. В этом настроении он говорил, что «ему не страшен мрак ночной, не жаль скудеющего дня». Но с мыслью о ночи соединялись у него иные представления, делавшие для него ночь символом и вместилищем совсем других идей и настроений. Эти идеи связаны с глубинами философского мировоззрения поэта. Почему он так легко позволял себе уходить от жизни? Потому что в его представлении не было ничего более случайного, призрачного, ненастоящего, чем внешний мир нашего бытия. Суть, настоящую реальную основу этого бытия составляет бездна непознаваемого.

Над этой бездной безымянной
 Покров наброшен златотканый
 Высокой волею богов.
 День — сей блистательный покров.

.....

Но меркнет день, настала ночь;
 Пришла — и с мира рокового
 Ткань благодатную покрыва
 Собрав, отбрасывает прочь.

И в этом страшном сумраке, скрывшем от нас жизнь, мы познаем ее существо:

И бездна нам обнажена
 С своими страхами и мглами,
 И нет преград меж ей и нами:
 Вот отчего нам ночь страшна.

Но этот страх есть страх познания: ночь страшна, ибо страшна истина. Настала ночь, эта мрачная, хмурая ночь, которая, «как зверь стоокий, глядит из каждого куста», — и человек, всю жизнь полагающий в дне, в делах внешнего обихода, вдруг познает всю призрачность того, что заполняет его существование, и всю близость той тьмы, из которой он пришел и в которую он уйдет.

И чудится давно минувшим сном
 Теперь ему все светлое, живое.

Сны казались нам призраками — нет, это отражение той бездны непознаваемого, которая составляет нашу истинную духовную атмосферу.

Как океан объемлет шар земной,
Земная жизнь кругом объята снами,
Настанет ночь, и звучными волнами
Стихия бьет о берег свой.

Стихия — нечто реальное и первообразное. Сон открывает ее нам:

...смертных дум, освобожденных сном,
Мир бестелесный, слышный, но незримый,
Теперь роится в хаосе ночном...

И почти всякое явление природы наводит поэта все на ту же мысль о хаосе: тихая ночь с ее таинственным молчанием, в котором поэт ясно слышит «чудный, еженочный, непостижимый» гул «ночных голосов», буря, которую он молит не петь «страшных песен про древний хаос, про родимый». Этот последний эпитет весьма знаменателен: Тютчев не раз напоминает о кровавых узах, связывающих человека с той бездной «неразгаданного» и по своей сути не могущего быть разгаданным, из которой он вышел. Когда «понятным сердцу языком» ночной ветер, воя и сетуя, «поет о непонятной муке», его песнь о родимом хаосе близка поэту:

Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой.
Из смертной рвется он души
И с беспредельным жаждет слиться...

Когда ночь, — это для Тютчева основное, первичное явление, — страшивает с мира внешнюю покрывку дня и человек остается лицом к лицу с темной бездной, то

...в чуждом, неразгаданном, ночном
Он узнает наследье роковое...

* * *

Чем могли быть явления человеческой жизни для этого поэта и мыслителя, проникнутого мыслью о всемогущем самодержавии хаоса, как не роковым порождением этого хаоса? В высшем проявлении человеческого чувства — в любви — он видел «роковое слиянье и поединок роковой».

И чем одно из них нежнее
 В борьбе неравной двух сердец,
 Тем неизбежней и вернее,
 Любя, страдаая, грустно млея,
 Оно изноет наконец.

Любовь двойственна; сильнее ее светлых, дневных элементов ее темная сторона. Прекрасен открытый, ясный взгляд любимых очей,

Но есть сильней очарованье:
 Глаза, потупленные ниц
 В минуты страстного лобзанья,
 И сквозь опущенных ресниц
 Угрюмый, тусклый огонь желанья.

Любовь не спасает, не возвышает, не очеловечивает:

В буйной слепоте страстей
 Мы то всего вернее губим,
 Что сердцу нашему милей.

Другая вершина человеческой мысли и чувства — религия — также не побеждает «темного корня бытия», а лишь борется с ним. Космос и хаос непримиримы, и там, где хаос считается основой бытия, нет места иному началу. К Божеству обращался Тютчев не раз в своей поэзии, но вера не проникала его. Он верил и не верил — и не без мысли о себе писал о нашем веке:

Он жаждет веры... но о ней не просит.

И, быть может, криком также его души «пред запертою дверью» был возглас отчаяния:

Впусти меня. Я верю, Боже мой,
 Приди на помощь моему неверью.

На этом болезненно-резком и неразрешенном диссонансе мы могли бы расстаться с поэзией Тютчева: эта трагическая двойственность — такой ясный и всеобъемлющий символ всего его творчества. И не примиряется, но как бы прикрывается она одним излюбленным настроением Тютчева. В неразрешенной трагедии бытия как бы статика его творчества; отчаяние всегда неподвижно. Но эта трагическая беспорывность не ограничивает поэзии Тютчева. В ней есть динамика, есть порыв; высшая красота ее в молитвенно-созерцательном движении ввысь.



Тютчев любил всю природу во всей ее прелести и чистоте, правде и разнообразии. Но был один образ, к которому он обращался особенно охотно, то явно символизируя в нем свое глубочайшее порывание, то непосредственно изображая пейзаж, всегда захватывавший его мысль; это — картина горных вершин. Сидя в альпийской долине, он неизменно подымал свой взгляд вверх и видел:

А там, в торжественном покое,
Разоблаченная с утра,
Сияет Белая гора,
Как откровенье неземное...

И, наконец, не отрывая взгляда от «недоступных громад» с их «непорочными снегами» и отблеском полета ангелов, он связывал с ними свое непреходящее и неутолимое стремление ввысь:

Хоть я и свил гнездо в долине,
Но чувствую порой и я,
Как животворно на вершине
Бежит воздушная струя.

И с этим взором, неизменно и благоговейно обращенным ввысь, пребывает всегда образ Тютчева в нашей мысли. В конце концов лучшим наследием, переданным нам в его лирике, останется то, что всегда составляет лучший нравственный вывод из всякого истинно художественного и истинно философского произведения: не умолкающее увещание: «горé имеем сердца».

И поэзия Тютчева дорога нам именно тем внутренним смыслом, тем «души высоким строем», который он сумел так хорошо подметить и определить в жизни и творчестве другого поэта:

И этот-то души высокий строй,
Создавший жизнь его, проникший лиру,
Как лучший плод, как лучший подвиг свой
Он завещал взволнованному миру.

IV

В этом обзоре лирики Тютчева мы до сих пор намеренно обходили один элемент, высоколюбопытный, весьма характерный для двойственности поэта, а по силе поэтического размаха

стоящий наравне с философской лирикой Тютчева. Тютчев не только величайший лирик в русской философии, но также сильнейший из русских политических поэтов.

Для того, кто вынес определенное представление о мировоззрении Тютчева на основании его философской лирики, кто привык ценить эту философию, привлекательную в своей беспощадности, и это настроение, возвышенное в своем безотрадном спокойствии, для того политические стихотворения Тютчева представляют собою явление загадочное. Он силен и в них; даже больше: в этом роде поэзии, требующем силы и выразительности по преимуществу, он дал образцы, едва ли превзойденные кем-либо у нас. На разнообразные явления исторической жизни он отозвался лирическими произведениями, звучная яркость которых способна произвести художественное впечатление даже на того, кто бесконечно далек от политических идеалов поэта. Но «борьба мешает быть поэтом» — и политической лирике Тютчева недостает именно того, чем мы привыкли восторгаться в прочей его поэзии: глубины и своеобразия мысли. Это великолепное выражение весьма общепринятых мыслей; от Тютчева мы ждем иного.

Он сам лучше всех оценил истинную суть своего существа, когда говорил:

Душа моя — элизиум теней,
 Ни замыслам години буйной сей,
 Ни радостям, ни горю непрichастных.

Глубины его души были в самом деле непрichастны впечатлениям «години буйной», которую переживал вокруг него человеческий мир, и та поэзия, которою он отзывался на «горе и радости» своего политического направления, творилась не в этих глубинах, а вне их. Ни в чем «двойная жизнь» Тютчева не нашла столь конкретного выражения, как в этой противоположности двух элементов в поэзии. Мыслитель был поэтом, политик был оратором. Людям, не разделяющим взглядов поэта, остается преклониться пред предопределением, направившим эту силу против них, и радоваться тому, что бессмертный Тютчев — не в его политических обличениях, какова бы ни была их яркость.

Оригинального в политических воззрениях Тютчева не много; конечно, не было никакого внутреннего противоречия в этом сочетании очень умеренного либерализма с суровым национализмом, мистическим в своей идейной окраске («В Россию можно только верить») и сурово-действенным в реальном политиче-

ском применении. Докладная записка Тютчева, поданная мюнхенским дипломатом Николаю I в разгаре революции 1848 года, представляет собою теоретическое обоснование непосредственно за сим следующего русского вмешательства в австро-венгерское столкновение. Здесь Россия противопоставлена Европе как воплощение христианства. Наоборот, Европа, не справившаяся с могуществом революции посредством иллюзий правового строя, есть сама воплощенная революция — начало не только политическое, но по преимуществу противорелигиозное. Поэтому поход против европейской смуты есть крестовый поход; это обязанность монархической России, хранительницы священных заветов Венского конгресса³. Общественно-государственные строения России, черная неправда ее строя — незначительная подробность в сопоставлении с ее историко-религиозным призыванием: стать всемирной монархией, скованной воедино не насилием, «не железом и кровью» — намек на слова Бисмарка, — но любовью. Как и в иных подобных случаях, этот возвышенный идеал обращался у Тютчева при столкновении с живой политической действительностью в свою противоположность. В эпоху первого польского восстания поэт обращался к поработанному народу с «необычной у патриотических певцов гуманностью»:

Ты ж, братскою стрелой пронзенный,
Судеб свершая приговор,
Ты пал, орел одноплеменный,
На очистительный костер.
Верь слову русского народа:
Твой пепл мы свято сбережем,
И наша общая свобода,
Как феникс, возродится в нем.

Но восстание 1863 года уже встретило новое отношение, и в прочувственном четверостишии поэт отождествлял врагов России с врагами Муравьева-Виленского, который едва ли любовью старался спаять разноплеменные части великой родины⁴.

* * *

Можно быть яростным противником политических воззрений Тютчева — не столько даже националиста, сколько государственника, — нельзя, однако, отвергнуть поэтическую ценность его политической лирики. Однако такой голословный судья, как И. С. Аксаков, в письмах, не предназначенных для публики, находил возможным говорить, что эти произведения Тют-

чева «дороги только по имени автора, а не сами по себе; это не настоящие тютчевские стихи с оригинальностью мысли и оборотов, с поразительностью картины» и т. д. В них, как и в публицистике Тютчева, есть нечто рассудочное, — искреннее, но не от сердца идущее, а от головы. Чтобы быть настоящим поэтом того направления, в котором писал Тютчев, надо было любить непосредственно Россию), знать ее, разделять ее верования. Этого, по собственным признаниям Тютчева, у него не было. Он верил в Россию, но не верил с нею вместе. Пробыв с восемнадцатилетнего до сорокалетнего возраста за границей, поэт не знал родины и в целом ряде стихотворений («На возвратном пути», «Вновь твои я вижу очи», «Итак, опять увидел я», «Глядел я, стоя над Невою») признавался, что родина ему не мила и не была «для души его родимым краем». Отношение его к народной религии хорошо характеризуется отрывком из письма к жене (1843), приведенным у Аксакова (речь идет о том, как пред отъездом Тютчева в его семье молились, а затем ездили к Иверской Божьей Матери): «Одним словом, все произошло согласно с порядками самого взыскательного православия... Ну, что же? Для человека, который приобщается к ним только мимоходом и в меру своего удобства, есть в этих формах, так глубоко исторических, в этом мире русско-византийском, где жизнь и верослужение составляют одно... есть во всем этом для человека, снабженного чутьем для подобных явлений, влечение поэзии необычайное, такое великое, что оно преодолевает самую яркую враждебность... Ибо к ощущению прошлого — и такого уже старого прошлого — присоединяется фатально предчувствие несоизмеримого будущего». Это признание бросает свет на религиозные убеждения Тютчева, имевшие в основе, очевидно, совсем не простую веру, но прежде всего теоретические политические воззрения в связи с некоторым эстетическим элементом. Рассудочная по происхождению, политическая поэзия Тютчева имеет, однако, свой пафос — пафос убежденной мысли. Отсюда сила некоторых его поэтических обличений («Прочь, прочь австрийского иуду от гробовой его доски», или о римском папе: «Его погубит роковое слово: *свобода совести есть бред*»). Он умел также давать выдающееся по силе и сжатости выражения своей вере в Россию (знаменитое четверостишие «Умом Россию не понять», «Эти бедные селенья»), в ее политическое призвание («Рассвет», «Пророчество», «Восход солнца», «Русская география» и др.).

Значение Тютчева в развитии русской лирической поэзии определяется его историческим положением: младший сверст-

ник и ученик Пушкина, он был старшим товарищем и учителем лириков послепушкинского периода. Как и предсказывал Тургенев, он остался до сих пор поэтом немногих ценителей; волна общественной реакции лишь временно расширяла его известность, представляя его певцом своих настроений. По существу он остался все тем же «неопошлимым», могучим в лучших, бессмертных образцах своей философской лирики, учителем жизни для читателя, учителем поэзии для поэтов. Частности в его форме бывают не безукоризненны; в общем она бессмертна, и трудно представить себе тот момент, когда, напр<имер>, «Сумерки» или «Фонтан» потеряют свою поэтическую свежесть и обаяние.

1903

